

Азбука
PREMIUM
РУССКАЯ ПРОЗА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Соглядатай Отчаяние



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Н 14

Vladimir Nabokov
THE EYE
Copyright © 1965, Vladimir Nabokov
DESPAIR
Copyright © 1965, 1966, Vladimir Nabokov
All rights reserved

Предисловия автора к американским изданиям
публикуются в переводе Геннадия Барабтарло
с сохранением особенностей орфографии переводчика

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-12759-3

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Соглядатай

Посвящается моей жене

С этой дамой, с этой Матильдой, я познакомился в мою первую берлинскую осень. Мне только что нашли место гувернера — в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Их было двое: мальчишки. Я чувствовал в их присутствии унижительное стеснение. Они вели счет моим папиросам, и это их ровное любопытство так на меня действовало, что я странно, на отлете, держал папиросу, словно впервые курил, и все ронял пепел к себе на колени, и тогда их ясный взгляд внимательно переходил с моей дрожащей руки на бледно-серую, уже размазанную по ворсу пыльцу. Матильда бывала в гостях у их родителей и постоянно оставалась ужинать. Как-то раз шумел проливной дождь, ей дали зонтик, и она тогда сказала: «Вот и отлично, большое спасибо, молодой человек меня проводит и принесет зонт обратно». С тех пор вошло в мои обязанности ее провожать. Она, пожалуй, нравилась мне — эта разбитная, полная, волоокая дама с большим ртом, который собирался в пурпурный комок, когда она, пудрясь, смотрелась в зеркальце. У нее были тонкие лодыжки, легкая поступь, за которую многое ей прощалось. От нее исходило щедрое тепло: как только она появлялась, мне уже мнилось, что в комнате жарко

натоплено, и когда, отведа восвосяи эту большую живую печь, я возвращался один среди чмокания и ртутного блеска безжалостной ночи, было мне холодно, холодно до омерзения. Потом приехал из Парижа ее муж и стал с ней бывать в гостях вместе, — муж как муж, я мало на него обратил внимания, только заметил его манеру коротко и гулко откашливаться в кулак, перед тем как заговорить, и тяжелую, черную, с блестящим набалдашником трость, которой он постукивал об пол, пока Матильда, восторженно захлебываясь, превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог. Муж спустя месяц отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, — что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шел, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая моя рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь била, как в барабан. Этот зонтик, — потом, в квартире у Матильды, — распятый вблизи парового отопления, все капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл.

Матильда была не первой моей любовницей. До нее любила меня домашняя портниха в Петербурге, тоже полная и тоже все советовавшая мне прочесть какую-то книжку («Мурочка, история одной жизни»). Обе они, эти полные женщины, издавали среди телесных бурь тонкий, почти детский писк, и мне казалось иногда, что не стоило проделать все, что я проделал, то есть, помирая со страху, переехать финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий попасть в другие, почти тождественные. К тому же Матильда стала вскоре меня томить. У нее был один постоянный, гнетущий меня разговор — о муже.

«Этот человек — благородный зверь. Он меня бы убил на месте, если б узнал. Он обожает меня и дико ревнив. Он в Константинополе шлепал одним французом об пол, как тряпкой. Он страстен до жути. Но в своей жестокости он красив». Я старался переменить разговор, но это был Матильдин конек, на который она садилась плотно и с удовольствием. Образ мужа, создаваемый ею, было трудно слить с обликом человека, которому я так мало уделил внимания, и вместе с тем мне было чрезвычайно неприятно думать, что, может быть, это вовсе не ее добротная фантазия и действительно сейчас в Париже, почуя беду, таращит глаза, скрипит зубами и сильно дышит через нос ревнивый изверг.

Бывало, плетусь домой, портсигар пуст, от рассветного ветерка горит лицо, как после грима, каждый шаг отдается гулкой болью в голове, и вот, поворачивая так и сяк мое плохонькое счастье, я дивлюсь, я жалею себя, я чувствую уныние и страх. В самом деле: человеку, чтобы счастливо существовать, нужно хоть час в день, хоть десять минут существовать машинально. Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во сне не переставал наблюдать за собой, ничего в своем бытии не понимая, шалея от мысли, что не могу забытья, и завидуя всем тем простым людям — чиновникам, революционерам, лавочникам, — которые уверенно и сосредоточенно делают свое маленькое дело. У меня же оболочки не было. И в эти страшные, нежно-голубые утра, цокая каблуком через пустыню города, я воображал человека, потерявшего рассудок, оттого что он начал бы явственно ощущать движение земного шара. Ходил бы он балансируя, хватаясь за мебель, или садился бы у окна, возбужденно улыбаясь, как пассажир, который в поезде вам вдруг говорит: «Здорово шпарит!» Но вскоре, от всей этой шаткости и качки, его стало бы тошнить, он сосал бы лимон

и лед, ложился бы плашмя на пол, и все — понапрасну. Движение остановить нельзя, машинист слеп, а тормоза не найти, — и умер бы он от разрыва сердца, когда скорость стала бы невыносимой.

И я был так одинок. Матильда, которая лукаво спрашивала меня, не пишу ли стихов, Матильда, которая на лестнице или у подъезда искусно науськивала меня на поцелуй, только чтобы иметь повод отряхнуться и страстно прошептать: «Сумасшедший мальчик...» — Матильда, конечно, была не в счет. Кого же я еще знал в Берлине? Секретаря благотворительного общества, семью, где служил гувернером, владельца русского книжного магазина Вайнштока, старушку немку, у которой прежде снимал комнату, — вот и обчелся. Таким образом, всем своим беззащитным бытием я служил заманчивой мишенью для несчастья. Оно и приняло приглашение.

Было около шести. Воздух в комнатах по-сумеречно-му тяжелед, я едва различал строки смешного чеховского рассказа, который спотыкавшимся голосом читал моим воспитанникам, но не смел включить свет: у них было, у этих мальчишек, странное, недетское тяготение к экономности, гнусная какая-то хозяйственность, они в точности знали, сколько стоит колбаса, масло, свет, различные породы автомобилей... И, читая им вслух «Роман с контрабасом», тщетно пытаясь их развеселить и чувствуя стыд за себя и за бедного автора, я знал, я знал, что они отлично видят мою борьбу с сумеречной мутью и холодно следят, выдержу ли я до той минуты, когда в доме напротив, подавая пример, зажжется первая лампа. Я выдержал и был награжден светом. Только что я приготовился придать голосу большую живость (приближалось самое уморительное место в рассказе), как вдруг из прихожей позвал телефон. Мы были одни дома, мальчи-

ки сразу вскочили и бросились наперегонки по направлению к звону. Я же остался сидеть с раскрытой книгой на коленях, нежно улыбаясь прерванной строке. Оказалось, что вызывают меня. Я сел в хрустящее кресло, приложил трубку к уху. Мои ученики стояли подле — один справа, другой слева, невозмутимо меня сторожа. «Сейчас собираюсь к вам, — сказал мужской голос. — Вы будете дома, надеюсь?» Я спросил: «Кто говорит?» — «Не узнаете? Тем лучше — будет сюрприз», — сказал голос. «Но я хочу знать кто», — настаивал я со смехом. (Потом я не мог без ужаса и стыда вспомнить жеманную игривость моего тона.) «Преждевременно», — сухо сказал голос. Тут я вконец распалился: «Отчего? Отчего? Вот это забавно...» Заметив, что говорю с пустотой, я пожал плечами и повесил трубку. Мы вернулись в гостиную, я сказал: «Ну, где же, значит, мы остановились?» — и, найдя место, продолжал чтение.

Но мне было как-то беспокойно. Механически читая вслух, я все рассуждал про себя, кто этот гость. Приезжий из России, быть может? Я смутно перебрал знакомые лица, знакомые голоса — их было, увы, немного, — остановился почему-то на студенте Ушакове... Мой единственный университетский год, небогатый встречами, хранил этого Ушакова, как сокровище. Когда, среди разговора, при случайном упоминании о «Гаудеамусе» и студенческой бесшабашности, я делал знающее, слегка мечтательное лицо, то это относилось к Ушакову, хотя, видит Бог, я беседовал с ним всего дважды (о политических или иных пустяках, не помню). Вряд ли, однако, он был бы так таинственен по телефону. И я терялся в догадках, воображая то агента коммунистического союза, то чудака-миллионщика, которому нужен секретарь.

Звонок. Мальчики опять опрометью бросились в прихожую. Я тоже вышел посмотреть. Они с удовольствием, со знанием дела отодвинули стальной болтик, что-то еще поковыряли, и дверь открылась...

Странное воспоминание... Даже теперь, когда многое изменилось, — даже теперь я слегка замираю, вызывая из памяти, как опасного преступника из камеры, то странное воспоминание. Тогда-то обрушилась, совершенно беззвучно — как на экране, — целая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится нечто потрясающее, но на лице у меня, несомненно, была улыбка, и, кажется, угодливая, и моя рука, которая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыталась довести жест, звеневший у меня в голове словами: элементарная вежливость. «Убрать руку», — было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь.

Недаром я давеча не узнал его голоса. То, что телефон передал как некоторую натуженность, искажившую знакомый тембр, было на самом деле совершенно исключительным бешенством, густым звуком, которого я до тех пор не слышал ни в одном человеческом голосе. И как живая картина стоит эта сцена у меня в памяти: ярко озаренная прихожая, я, не знающий, что делать с неприятной моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот гость, в оливковой макинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, словно огорошенный магнием, — глаза навывкате, черный равнобедренный треугольник подстриженных усов над ядовито-пухлой губой. И вдруг началось легкое, сперва еле приметное движение: его губы, расклеившись, чмокнули, черная, толстая трость в его руке чуть дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. «В чем дело? — спросил я. — В чем

дело? Недоразумение, кажется... Кажется, какое-то недоразумение...» И тут для непристроенной и еще томившейся моей руки я нашел унижительное, невозможное место: в смутном стремлении сохранить свое достоинство я опустил руку на плечо ученика; мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. «Вот что, господин хороший, — вдруг брызнул гость, — отойдите-ка от них малость: я их трогать не буду, можете не защищать, — а мне нужен простор, так как я собираюсь из вас пыль выколачивать». — «Вы в чужом доме, — сказал я. — Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите...»

Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу, горячо и звучно, и я от силы удара ухнул в сторону, плетеное кресло отпрянуло от меня как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы; удар пришелся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, проскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот еще любопытная подробность: я ведь в голос кричал, звал его по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал. Когда он опять меня настиг, я попробовал защититься какой-то схваченной на ходу подушкой, но он выбил ее у меня из рук. «Это безобразие, — крикнул я. — Я безоружный. Меня оклеветали. Вы за это дорого...»

Опять. Отступая, я зашел за стол, и на минуту все оцепенело снова живой картиной. Он стоял, скалясь и подняв трость, а за ним, по сторонам двери, застыли мальчики, — и, быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но, ей-богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И погода все опять пришло в движение, мы все четверо перешли в следующую комнату, — он попал мне

в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом ша-рахнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорбил, и даже теперь, под его тяжелой тростью, не только не умел перейти в нападение, будучи несведущ в мужественных приемах, но — даже в эти минуты боли и унижения — не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно ежели ближний гневен и мускулист, и не пытался бежать к себе в комнату, где в ящичке был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков.

Созерцательное оцепенение моих учеников, различные позы, в которых они, как фрески, застывали по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я попятился в темную столовую, — все это, должно быть, обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортерском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем (такой-то по пути на конференцию). На самом же деле они, по-видимому, не все время присутствовали при моей казни, была какая-то минута, когда, боясь за родительскую мебель, они деловито принялись звонить в полицию, — попытка, сразу пресеченная громовым окриком, — но я не знаю, куда поместить эту минуту, в начало или в самый конец, после того апофеоза страдания и ужаса, когда, упав мешком на пол, я представлял круглую спину ударам и хрипло повторял: «Довольно, довольно, у меня большое сердце, довольно, у меня большое...» Сердце мое, отмечу в скобках, всегда работало исправно.

И через некоторое время все кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой; постоял, поглядел и, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и

направился к себе в комнату. Мальчики бегом последовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь. Я отшвырнул его ударом локтя и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ, обмыл лицо, чуть не крича от едкого прикосновения воды, и затем, вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепили слезы.

Когда, в пальто, неся тяжелый чемодан, я вышел в прихожую, мальчики сразу опять появились. Я на них даже не взглянул. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как они сверху смотрят на меня, перегнувшись через перила. Пониже я встретил учительницу музыки, приходившую как раз по вторникам. Это была кроткая русская девица в очках, с толстыми, кривыми ногами. Я не поклонился ей, отвернул опухшее лицо и, подгоняемый смертельной тишиной ее удивления, выскочил на улицу.

До того как покончить с собой, я хотел по традиции написать кое-какие письма да посидеть хоть пять минут в безопасности, а потому, кликнув таксомотор, отправился туда, где жил раньше. По счастью, знакомая мне комнатка оказалась свободной, и старушка хозяйка стала сразу стелить мне постель... Напрасные хлопоты. Я с нетерпением ждал ее ухода, она возилась долго, наполняла водой кувшин, графин, затягивала штору, что-то дергала, с разинутым черным ртом глядя вверх. Наконец, помяукав, она ушла.

Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки. Таким я на мгновение увидел себя в зеркале. Затем я быстро вынул из чемодана бумагу, конверты, нашел в кармане убогий карандаш и сел к столу. Но оказалось,

что писать мне не к кому. Я мало кого знал и никого не любил. Письма отпали, отпало все остальное: мне смутно казалось, что необходимо прибрать вещи, надеть чистое белье, оставив в конверте все мои деньги — двадцать марок — с запиской, кому их отдать. Но тут я понял, что все это решил я не сегодня, а когда-то давно, в разное время, когда беззаботно представлял себе, как люди стреляются. Так закоренелый горожанин, получив неожиданное приглашение от знакомого помещика, покупает в первую очередь фляжку и крепкие сапоги, — не потому, что они могут и впрямь пригодиться, а так, бессознательно, вследствие каких-то прежних непроверенных мыслей о деревне, о длинных прогулках по лесам и горам. Но нет ни лесов, ни гор, — сплошная пашня, и шагать в жару по шоссе неохота. Так и я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях; человек, решившийся на самоистребление, далек от житейских дел, и засесть, скажем, писать завещание было бы столь же нелепым, как принять в такую минуту средство против выпадения волос, ибо вместе с человеком истребляется и весь мир, в пыль рассыпается предсмертное письмо и с ним все почтальоны, и как дым исчезает доходный дом, завещанный несуществующему потомству.

И вот, то, что я давно подозревал, — бессмысленность мира, — стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, — вот она-то и была знаком бессмысленности. Я взял двадцатимарковый билет и разорвал его на клочки. Я снял с руки часики, швырнул их на пол и швырял их до тех пор, пока они не остановились. Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернется, расколошматить витрину... Фантазия беззакония ограничена, — я ничего не мог придумать далее.

Опасливо и неловко я зарядил револьвер, затем потушил в комнате свет. Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста. Я боялся, страшно боялся чудовищной боли, которую, быть может, мне пуля причинит, но бояться черного бархатного сна, ровной тьмы, куда более приемлемой и понятной, чем бессонная пестрота жизни, — нет, как можно этого бояться, глупости какие... Стоя посреди темной комнаты, я растегнул на груди рубашку, наклонился корпусом вперед, нащупал между ребер сердце, бившееся как небольшое животное, которое хочешь перенести в безопасное место и которому не можешь объяснить, что нечего бояться, а напротив, для него же стараешься... но оно было такое живое, мое сердце, — плотно приложить дуло к тонкой коже, под которой оно упруго пульсировало, было мне как-то противно, и потому я слегка отодвинул неудобно согнутую руку, так, чтобы сталь не касалась моей голой груди. Затем я напрягся и выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, — никогда не забуду этого звона. Он сразу перешел в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол как в бездонную воду.

Через некоторое время, если вообще тут можно говорить о времени, выяснилось, что после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции. Я был туго закутан — не то в саван, не то просто в плотную темноту. Я все помнил — имя, земную жизнь — со стеклянной ясностью, и меня необыкновенно утешало, что беспокоиться теперь не о чем. Когда из непонятого ощущения тугих бинтов я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале, то сразу, послушно моей воле, выросла вокруг меня призрачная больничная палата, и были у меня соседи — такие же мумии, как я, — по три мумии с каждой стороны. Какая же это здоровенная штука, человеческая мысль, что вот — бьет — поверх смерти, и Бог знает, сколько еще будет трепетать и творить после того, как мой мертвый мозг давно стал ни к чему не способен. И с легким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили, была ли панихида и кто пришел на похороны.

Но как цепко, как деловито, словно соскучившись по работе, принялась моя мысль мастерить подобие больницы, подобие движущихся белых людей между коек, с одной из которых доносилось подобие человеческого сто-на! Благодушно поддаваясь этим представлениям, горяча и раздражая их, я дошел до того, что создал цельную естественную картину, простую повесть о неметкой

пуле, о легкой сквозной ране; и тут возник мной сотворенный врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку. А затем, когда я стал, смеясь, клясться, что неумело разряжал револьвер, — появилась и моя старушка, в черной соломенной шляпе с вишнями, села у моей койки, любопытствовала, как я себя чувствую, и, лукаво грозя пальцем, упомянула о каком-то кувшине, вдребезги разбитом пулей... О, как ловко, как по-житейски просто моя мысль объяснила звон и журчание, сопроводившие меня в небытие.

Я полагал, что посмертный разбег моей мысли скоро выдохнется, но, по-видимому, мое воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что теперь хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы. Я вышел на улицу — реставрация берлинской улицы удалась на диво — и поплыл по панели, осторожно и легко ступая еще слабыми, как бы бесплотными ногами. И думал я о житейских вещах, о том, что надо починить часы и достать папирос, и о том, что у меня нет ни гроша. Поймав себя на этих думах, — не очень, впрочем, тревожных, — я живо вообразил тот телесного цвета с карей тенью билет, который я разорвал перед самоубийством, и мое тогдашнее ощущение свободы, безнаказанности. Теперь, однако, поступок мой приобретал некоторое мстительное значение, и я был рад, что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобожденная от тела, продолжает двигаться в кругу, где все по-прежнему связано, где все обладает сравнительным смыслом, и что потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков.

Я шел по знакомым улицам, и все было очень похоже на действительность, и ничто, однако, не могло мне доказать, что я не мертв и что все это не загробная греза. Я видел себя со стороны тихо идущим по панели, — я умилялся и робел, как еще неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека.

Плавное, машинальное стремление привело меня к лавке Вайнштока. Мгновенно напечатанные в угоду мне книги спешно появились в витрине. Одну долю секунды некоторые заглавия были еще туманны: я всмотрелся, туман рассеялся. Когда я вошел, в магазине было пусто, и тусклым адовым пламенем горела в углу чугунная печка. Где-то внизу за прилавком послышалось кряхтение Вайнштока. «Закатилось, — бормотал он напряженно, — закатилось». Погодя он выпрямился, и тут я уличил в неточности свою фантазию, принужденную, правда, работать очень быстро: Вайншток носил усы, а теперь их не было, моя мечта не успела его доделать, и вместо усов было на его бледном лице розоватое от бритья место. «Фу, как вы скверно смотрите, — сказал он, здороваясь со мной, — фу, фу. Что с вами? Хворали?» Я ответил, что действительно — был болен. «Теперь гриппа», — загадочно сказал Вайншток и вздохнул. «Давно не видались, — заговорил он опять. — Скажите, вы тогда службу нашли?» Я ответил, что был одно время гувернером, но теперь это место потерял, и очень хочу курить. Вошел покупатель и спросил русско-испанский словарь. «Кажется, имеется», — сказал Вайншток, повернувшись к полке и пальцем проводя по толстеньким корешкам.

Меж тем мое внимание привлек тихий кашель в глубине магазина. Кто-то, охая, прошуршал, скрытый книгами. «Вы себе завели помощника?» — спросил я у Вайнштока, когда покупатель ушел. «Я его на днях рассчитаю, — тихо ответил Вайншток. — Это абсолютно не-

годный старик. Мне нужен молодой». — «А как поживает черная рука, Викентий Львович?» — «Если бы вы не были таким злостным скептиком, — внушительно сказал Вайншток, — я сумел бы вам рассказать много интересного». Он немного обиделся, — а это было некстати: призрачная, безденежная моя легкость требовала какого-то разрешения, а моя фантазия создавала довольно никчемный разговор... «Нет, нет, Викентий Львович, почему скептик? Напротив. Вспомните, я из-за этого в свое время раскошелился». Действительно, когда я познакомился с Вайнштоком, то сразу в нем обнаружил родственную мне черту — склонность к навязчивым идеям. Вайншток был убежден, что какие-то люди, которых он с таинственной лаконичностью и со зловещим ударением на первом слоге называл «агенты», постоянно за ним следят. Он намекал на существование черного списка, где будто бы находится его имя. Я посмеивался над ним, но внутренне холодел. Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случайно заметил в трамвае, — неприятный блондин с бегающими глазами, — был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и делал вид, что читает газету. С той поры я начал побаиваться. Я сердился на себя, издевался мысленно над Вайнштоком, но ничего не мог поделать со своим воображением. По ночам мне чудилось, что кто-то лезет ко мне в окно. Наконец я купил револьвер и совершенно успокоился. На этот расход (тем более нелепый, что «ваффеншайн» у меня отняли) я теперь и намекал Вайнштоку. «На что вам оружие? — ответил он. — Они хитрые как бестии. Против них возможна только одна защита — мозги. Моя организация...» Он вдруг подозрительно вскинул на меня глаза, как будто сказал лишнее. Тогда я решился — объяснил, стараясь говорить шутливо, что мое положение странное, занимать денег

больше негде, а жить и курить нужно, — и, говоря все это, я вспоминал развязного незнакомца с выбитым передним зубом, который как-то явился к матери моих воспитанников и совершенно таким же шутливым тоном рассказал, что ему нужно ехать вечером в Висбаден и не хватает ровно девяноста пфеннигов. («Ну, насчет Висбаденов вы оставьте, — спокойно сказала она. — А двадцать пфеннигов я вам, так и быть, дам. Больше не могу из чисто принципиальных соображений».) Впрочем, теперь при этом сопоставлении я не ощутил ни малейшего стыда. После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое — до выстрела — было мне как-то чуждо. Этот разговор с Вайнштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним. Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения.

Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массаами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет, — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, — все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд «Капитал» — плод бессонницы и мигрени. Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя — что было бы, если бы... заменять одну случай-

ность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственна эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие, — было так, а могло бы быть иначе, — и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого.

Все эти простые мысли — о зыбкости жизни — приходят мне на ум, когда я думаю о том, как легко могло случиться, что я никогда бы не попал в дом номер пять на Павлинъей улице, никогда бы не узнал ни Вани, ни Ваниной сестры, ни Романа Богдановича, ни многих других людей, так неожиданно и непривычно заживших во круг меня. И наоборот... Поселись я после призрачного выхода из больницы в другом доме, быть может, невысказанное счастье запросто бы со мной разговорилось, — как знать... как знать...

Надо мной, в верхнем, надстроенном, этаже жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток, у которого они брали книги, — тоже очаровательный прием со стороны фантазии, управляющей жизнью. До настоящего знакомства были, впрочем, постоянные встречи на лестнице и те слегка тревожные взгляды, которыми за границей обмениваются русские. Ваню я отметил сразу, и сразу почувствовал сердцебиение, как во сне, когда добыча мечты тут, у тебя в комнате, — подойди и схвати. Молодая дама с милым бульдожьим лицом оказалась впоследствии Ваниной сестрой, Евгенией Евгеньевной. Муж Евгении Евгеньевны, веселый господин с толстым носом, тоже был порождением лестницы. Я ему придержал как-то дверь, и его немецкое — «спасибо» в точности прорифмовало с предложным падежом банка, в котором он, кстати сказать, служил.

У них жила родственница, Марианна Николаевна, и по вечерам бывали гости, почти всегда одни и те же. Хозяйкой дома считалась Евгения Евгеньевна. У нее был приятный юмор, — она-то и прозвала сестру Ваней, в те годы, когда меньшая требовала, чтобы ее звали Монна-Ванной, находя в звуке своего имени — Варвара — что-то толстое и рябое. Я не сразу привык к этому мужскому уменьшительному; постепенно же оно приняло для меня как раз тот оттенок, который грезился Ване в томных женских именах. Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеобразность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления. Обе были темноволосы и носили одинаковые прически — пробор посредине и большой, плотный узел низко на затылке. Но у старшей волосы не лежали с такой небесной гладкостью, лишены были драгоценного отлива... Мне хочется стряхнуть Евгению Евгеньевну, отставить ее совсем, чтобы сестер не приходилось сравнивать, и вместе с тем я знаю, что, не будь этого сходства, чего-то бы недоставало Ванينو-му обаянию. Вот только руки у нее были неизящные, — бледная ладонь как-то не соответствовала верхней стороне, красноватой, с большими костяшками. И на круглых ногтях были всегда белесые пятнышки.

Какое еще нужно напряжение, до какой еще пристальности дойти, чтобы словами передать зримый образ человека? Вот обе сестры сидят на диване, Евгения Евгеньевна в черном бархатном платье с большими бусами

на белой шее, Ваня в малиновом, с мелкими жемчугами вместо бус, глаза у нее сияют, переносица между черных бровей почему-то запудрена. Сестры в одинаковых новых туфлях и вот то и дело поглядывают друг дружке на ноги, — и на чужой ноге, верно, выглядит лучше, чем на своей. Их родственница, Марианна Николаевна, белокурая женщина-врач с интенсивной манерой говорить, рассказывает Смурову и Роману Богдановичу об ужасах гражданской войны. Муж Евгении Евгеньевны, Хрущов, — веселый господин с толстым, бледным носом, который он постоянно тискает, потягивает, пытается отвернуть сбоку, уцепившись за ноздрю, — говорит на пороге соседней комнаты с Мухиным, молодым человеком в пенсне. Оба стоят по бокам двери, друг против друга, как кариатиды.

Мухин и величавый Роман Богданович давно уже бывают здесь, Смуров же появился сравнительно недавно, но этого сразу не скажешь. Не было застенчивости, которая так выделяет человека среди людей, хорошо друг друга знающих, связанных между собой условными отзвуками бывших шуток, живыми для них именами, так что новопоявившийся чувствует себя как если бы он вдруг спохватился, что повесть, которую он принялся читать в журнале, началась уже давно, в каких-то предыдущих, неизвестных номерах, и, слушая общий разговор, богатый намеками на неведомое, он молчит, переводит взгляд с одного на другого, смотря по тому, кто говорит, — и чем быстрее реплики, тем подвижнее его глаза; вскоре незримый мир, живущий в словах окружающих, начинает его тяготить, ему кажется, что нарочно затеян разговор, куда он не вхож. Но если порой Смуров и чувствовал себя неловко, он, во всяком случае, не показывал этого. Признаюсь, в те первые вечера он на меня произвел довольно приятное впечатление. Был он роста небольшого,

но ладен и ловок, его скромный черный костюм и черный галстук бантиком, казалось, сдержанно намекают на какой-то тайный траур. Его бледное, тонкое лицо было молодо, но чуткий наблюдатель мог бы в его чертах найти следы печали и опыта. Он держался прекрасно, улыбался спокойной, немного грустной улыбкой, медлившей у него на губах. Говорил он мало, но все высказываемое им было умно и уместно, а редкие шутки его, слишком изящные, чтобы вызвать бурный смех, открывали в разговоре потайную дверцу, впуская неожиданную свежесть. Казалось, что он не мог сразу же не понравиться Ване, — именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук... Кое-что — например, слово «благодарствуйте», произносимое полностью, с сохранением букета согласных, — должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу.

Марианна Николаевна, говорившая об ужасах войны, на мгновение умолкла, почувствовав наконец, что бородатый и пышный Роман Богданович давно хочет вставить свое словцо, которое он держал во рту, как большую карамель; но ему не повезло, Смуров оказался проворнее.

«Внимая ужасам войны, — сказал с улыбкой Смуров, — мне не жаль ни друга, ни матери друга, а жаль мне тех, кто на войне не побывал. Трудно передать, какое музыкальное наслаждение в жужжании пуль — или когда летишь карьером в атаку...»

«Война всегда отвратительна, — сухо перебила Марианна Николаевна. — Я, вероятно, иначе воспитана, чем вы. Человек, отнимающий жизнь у другого, всегда убийца, будь он палач или кавалерист».

«Я лично...» — сказал Смуров, но она опять перебила:

«Военная доблесть — это пережиток прошлого. В течение моей врачебной практики мне часто приходилось

Содержание

СОГЛЯДАТАЙ. <i>Повесть</i>	5
Предисловие автора к американскому изданию	
<i>Перевод Г. Барабтарло</i>	71
ОТЧАЯНИЕ. <i>Роман</i>	75
Предисловие автора к американскому изданию	
<i>Перевод Г. Барабтарло</i>	250

Набоков В.

Н 14 Соглядатай : повесть ; Отчаяние : роман / Владимир Набоков. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 256 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-12759-3

В книгу включены два произведения всемирно известного русско-американского писателя Владимира Владимировича Набокова (Сирина), в которых иронично и виртуозно обыгрывается давняя литературная тема двойничества. Главный герой повести «Соглядатай» (1930), живущий в Берлине русский эмигрант, оскорбительным образом избит ревнивым мужем своей любовницы и, не в силах пережить унижения, решает на самоубийство. Однако и за порогом земного бытия его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно соглядатайствует за человеком по фамилии Смуров, загадку личности которого автор раскрывает лишь в самом конце повести. В романе «Отчаяние» (1932, опубликован в 1934) в рамках детективной истории о мнимом двойничестве и об «идеальном убийстве», задуманном берлинским коммерсантом с целью получить страховку, Набоков оригинально разыгрывает вечные литературные сюжеты о гении и злодействе, об истинном и ложном таланте, о преступлении и наказании, которые впоследствии получат развитие в знаменитой «Лолите».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
СОГЛЯДАТАЙ. ОТЧАЯНИЕ

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректор Нина Тюрина

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 16.02.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 2500 экз. Усл. печ. л. 13,44. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА® —
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



AAUP2087301R